

Вадим

Автор:

Михаил Лермонтов

Вадим

Михаил Юрьевич Лермонтов

Проза Михаила Лермонтова

Михаил Юрьевич Лермонтов

<Вадим>

Часть 1-я

Глава I

День угасал; лиловые облака, протягиваясь по западу, едва пропускали красные лучи, которые отражались на черепицах башен и ярких главах монастыря. Звонили к вечерни; монахи и служки ходили взад и вперед по каменным плитам, ведущим от кельи архимандрита в храм; длинные, черные мантии с шорохом обметали пыль вслед за ними; и они толкали богомольцев с таким важным видом, как будто бы это была их главная должность. Под дымной пеленою ладана трепещущий огонь свечей казался тусклым и красным; богомольцы теснились вокруг сырых столбов, и глухой, торжественный шорох толпы, повторяемый сводами, показывал, что служба еще не началась.

У ворот монастырских была другая картина. Несколько нищих и увечных ожидали милости богомольцев; они спорили, бранились, делили медные деньги, которые звенели в больших посконных мешках; это были люди, отвергнутые природой и обществом (только в этом случае общество согласно бывает с природой); это были люди, погибшие от недостатка или излишества надежд, олицетворенные упреки провидению; создания, лишённые права требовать сожаления, потому что они не имели ни одной добродетели, и не имеющие ни одной добродетели, потому что никогда не встречали сожаления.

Их одежды были изображения их душ: черные, изорванные. Лучи заката останавливались на головах, плечах и согнутых костистых коленях; углубления в лицах казались чернее обыкновенного; у каждого на челе было написано вечными буквами нищета!— хотя бы малейший знак, малейший остаток гордости отделился в глазах или в улыбке!

В толпе нищих был один – он не вмешивался в разговор их и неподвижно смотрел на расписанные святые врата; он был горбат и кривоног; но члены его казались крепкими и привыкшими к трудам этого позорного состояния; лицо его было длинно, смугло; прямой нос, курчавые волосы; широкий лоб его был желт как лоб ученого, мрачен как облако, покрывающее солнце в день бури; синяя жила пересекала его неправильные морщины; губы, тонкие, бледные, были растягиваемы и сжимаемы каким-то судорожным движением, и в глазах блистала целая будущность; его товарищи не знали, кто он таков; но сила души обнаруживается везде: они боялись его голоса и взгляда; они уважали в нем какой-то величайший порок, а не безграничное несчастье, демона – но не человека: – он был безобразен, отвратителен, но не это пугало их; в его глазах было столько огня и ума, столько неземного, что они, не смея верить их выражению, уважали в незнакомце чудесного обманщика. Ему казалось не больше 28 лет; на лице его постоянно отражалась насмешка, горькая, бесконечная; волшебный круг, заключавший вселенную; его душа еще не жила по-настоящему, но собирала все свои силы, чтобы переполнить жизнь и прежде времени вырваться в вечность; – нищий стоял сложа руки и рассматривал дьявола, изображенного поблекшими красками на св. вратах, и внутренне сожалел об нем; он думал: если б я был чорт, то не мучил бы людей, а презирал бы их; стоят ли они, чтоб их соблазнял изгнанник рая, соперник бога!.. другое дело человек; чтоб кончить презрением, он должен начать с ненависти!

И глаза его блистали под беспокойными бровями, и худые щеки покрывались красными пятнами: всё было согласно в чертах нищего: одна страсть владела

его сердцем или лучше он владел одною только страстью, – но зато совершенно!

«Христа ради, барин, – погорелым, калекам, слепому... Христа ради копеечку!» – раздался крик его товарищей; он вздрогнул, обернулся – и в этот миг решила его участь. – Что же увидел он? русского дворянина, Бориса Петровича Палицына. Не больше.

[Глава II]

Представьте себе мужчину лет 50, высокого, еще здорового, но с седыми волосами и потухшим взором, одетого в синее полукафтаны с анненским крестом в петлице; ноги его, запрятанные в огромные сапоги, производили неприятный звук, ступая на пыльные камни; он шел с важностью размахивая руками и наморщивал высокий лоб всякий раз, как докучливые нищие обступали его; – двое слуг следовали за ним с подобострастием. – Палицын положил серебряный рубль в кружку монастырскую и, оттолкнув нищих, воскликнул: «Прочь, вы! – лентяи. – Экие молодцы – а просят Христа ради; что вы не работаете? дай бог, чтоб пришло время, когда этих бродяг без стыда будут морить с голоду. – Вот вам рубль на всю братию. – Только чур не перекусайтесь за него».

Между тем горбатый нищий молча приблизился и устремил яркие черные глаза на великодушного господина; этот взор был остановившаяся молния, и человек, подверженный его таинственному влиянию, должен был содрогнуться и не мог отвечать ему тем же, как будто свинцовая печать тяготела на его веках; если магнетизм существует, то взгляд нищего был сильнейший магнетизм.

Когда старый господин удалился от толпы, он поспешил догнать его.

Палицын обернулся.

– Что тебе надобно?

– Очень мало! – я хочу работы...

С язвительной усмешкой посмотрел старик на нищего, на его горб и безобразные ноги... но бедняк нимало не смутился, и остался хладнокровен, как Сократ, когда жена вылила кувшин воды на его голову, но это не было хладнокровие мудреца – нищий был скорее похож на дуэлиста, который уверен в меткости руки своей.

– Если ты, барин, думаешь, что я не могу перенести труда, то я тебя успокою на этот счет. – Он поднял большой камень и начал им играть как мячиком; Палицын изумился.

– Хочешь ли быть моим слугою?

Нищий в одну минуту принял вид смирения и с жаром поцеловал руку своего нового покровителя... из вольного он согласился быть рабом – ужели даром? – и какая странная мысль принять имя раба за 2 месяца до Пугачева.

– Клянусь головою отца моего, что исполню свою обязанность! – воскликнул нищий, – и адская радость вспыхнула на бледном лице.

– Твое имя? —

– Вадим!

– Прелестное имя для такого урода!

Слуги подхватили шутку барина и захохотали; нищий взглянул на них с презрением, и неуместная веселость утихла; подлые души завидуют всему, даже обидам, которые показывают некоторое внимание со стороны их начальника.

– Следуй за мной!.. сказал Палицын, и все оставили монастырь. Часто Вадим оборачивался! на полусветлом небосклоне рисовались зубчатые стены, башни и церковь, плоскими черными городами, без всяких оттенков; но в этом зрелище было что-то величественное, заставляющее душу погружаться в себя и думать о вечности, и думать о величии земном и небесном, и тогда рождаются мысли мрачные и чудесные, как одинокий монастырь, неподвижный памятник слабости некоторых людей, которые не понимали, что где скрывается

добродетель, там может скрываться и преступление.

Глава III

Поздно, поздно вечером приехал Борис Петрович домой; собаки встретили его громким лаем, и только по светящимся окнам можно было узнать строение; ветер шумя качал ветелки, насаженные вокруг господского двора, и когда топот конский раздался, то слуги вышли с фонарями навстречу, улыбаясь и внутренне проклиная барина, для которого они покинули свои теплые постели, а может быть, что-нибудь получше. Палицын вошел в дом; – в зале было темно; оконницы дрожали от ветра и сильного дождя; в гостиной стояла свеча; эта комната была совершенно отделана во вкусе 18-го века: разноцветные обои, три круглые стола; перед каждым небольшое канапе; глухая стена, находящаяся между двумя высокими печами, на которых стояли безобразные статуйки, была вся измалевана; на ней изображался завядшими красками торжественный въезд Петра I в Москву после Полтавы: эту картину можно бы назвать рисованной программой.

Перед ореховым гладким столом сидела толстая женщина, зевая по сторонам, добрая женщина!.. жиреть, зевать, бранить служанок, приказчика, старосту, мужа, когда он в духе... какая завидная жизнь! и всё это продолжается сорок лет, и продолжится еще столько же... и будут оплакивать ее кончину... и будут помнить ее, и хвалить ее ангельский нрав, и жалеть... чудо что за жизнь! особенно как сравнишь с нею наши бури, поглощающие целые годы, и что еще ужаснее – обрывающие чувства человека, как листья с дерева, одно за другим.

На скамейке, у ног <Натальи> Сергевны (так я назову жену Палицына), сидела молодая девушка, ее воспитанница. – Это был ангел, изгнанный из рая за то, что слишком сожалел о человечестве. – Сальная свеча, горящая на столе, озаряла ее невинный открытый лоб и одну щеку, на которой, пристально вглядываясь, можно было бы различить мелкий золотой пушок; остальная часть лица ее была покрыта густой тенью; и только когда она поднимала большие глаза свои, то иногда две искры света отделялись в темноте; это лицо было одно из тех, какие мы видим во сне редко, а наяву почти никогда. – Ее грудь тихо колебалась, порой она нагибала голову, всматриваясь в свою работу, и длинные космы волос вырывались из-за ушей и падали на глаза; тогда выходила на свет белая рука с

продолговатыми пальцами; одна такая рука могла бы быть целою картиной!

Борис Петрович взошел; обе встали.

– Я привез нового холопа, – сказал он. – Клад! – нищий, который захотел работать! – он не должен быть слишком боек – это видно по лицу – но зато будет послушен!.. – вот ты увидишь сама – эй! – Вадимка! – живо.

Взошел безобразный нищий. Госпожа осмотрела его без внимания, как краденый товар... «Какой урод!» – воскликнула она. Но Вадим не слышал – его душа была в глазах.

Долго супруг разговаривал с супругой о жатве, льне и хозяйственных делах; и вовсе забыли о нищем; он целый битый час простоял в дверях; куда смотрел он? что думал? – он открыл новую струну в душе своей и новую цель своему существованию. Целый час он простоял; никто не заметил; <Наталья> Сергевна ушла в свою комнату, и тогда Палицын подошел к ее воспитаннице.

– Как тебе нравится мой новый холоп?

– Урод! – отвечала Ольга, и вдруг ей послышалось что-то похожее на скрежет зубов. – Охота привозить таких пугал, – продолжала она, – нам бедным пленным птичкам и без них худо!..

– Оттого худо, что ты не хочешь согласиться, – возразил Борис Петрович и намеревался ее обнять.

Ольга покраснела и оттолкнула его руку; это движение было слишком благородно для женщины обыкновенной.

– Плутовка! если бы ты знала, как ты прекрасна: разве у стариков нет сердца, разве нет в нем уголка, где кровь кипит и клокочет? – а было бы тебе хорошо! – если бы – выслушай... у меня есть золотые серьги с крупным жемчугом, персидские платки, у меня есть деньги, деньги, деньги...

– У вас нет стыда! – отвечала Ольга; Палицын посмотрел на нее – и вспыхнул; – но услышав шорох в другой комнате, погрозившись ушел.

– Боже!.. это восклицание невольно вырвалось из ее груди; это была молитва и упрек.

Безобразный нищий всё еще стоял в дверях, сложа руки, нем и недвижим – на его ресницах блеснула слеза: может быть первая слеза – и слеза отчаяния!.. Такие слезы истощают душу, отнимают несколько лет жизни, могут потопить в одну минуту миллион сладких надежд! они для одного человека – что был Наполеон для вселенной: в десять лет он подвинул нас целым веком вперед.

– Знаешь ли ты своих родителей, Ольга? – сказал Вадим.

– Странный вопрос! – отвечала она.

– Знаешь ли ты их, – повторил он таким голосом, который заставил ее содрогнуться; она посмотрела ему пристально в глаза, как будто припоминая нечто давно, давно прошедшее.

– Я сирота; – мой отец меня оставил, когда я была ребенком – и отправился бог знает куда – верно очень далеко, потому что он не возвращался, – чело Вадима омрачилось, и горькая язвительная улыбка придала чертам его, слабо озаренным догорающей свечой, что-то демонское.

– Хочешь ли знать куда?

– Хочу!.. – и влажные глаза ее ярко заблистали.

– Подумай, – я для тебя человек чужой – может быть я шучу, насмехаюсь!.. подумай: есть тайны, на дне которых яд, тайны, которые неразрывно связывают две участи; есть люди, заражающие своим дыханием счастье других; всё, что их любит и ненавидит, обречено гибели... берегись того и другого – узнав мою тайну, ты отдашь судьбу свою в руки опасного человека: он не сумеет лелеять цветок этот: он изомнет его...

– Хочу знать непременно... – воскликнула неопытная девушка.

Она посмотрела вокруг – нищего уже не было в комнате.

Глава IV

Прошло двое суток – Вадим еще не объявлял своей тайны... Ужели он только хотел подстрекнуть женское любопытство? если так, то он вполне достиг своей цели. Под разными предлогами, пренебрегая гнев госпожи своей, Ольга отлучалась от скучной работы и старалась встретиться где-нибудь в отдаленной пустой комнате Вадима; и странно! она почти всегда находила его там, где думала найти – и тогда просьбы, ласки, все хитрости были употребляемы, чтобы выманить желанную тайну – однако он был непреклонен; умел отвести разговор на другой предмет, занимал ее разными рассказами – но тайны не было; она дивилась его уму, его бурному нраву, начинала проникать в его сумрачную душу и заметила, что этот человек рожден не для рабства: – и это заставило ее иметь к нему доверенность; немудрено; – власть разлучает гордые души, а неволя соединяет их.

Однажды она взяла его за руку.

– Не правда ли я очень безобразен! – воскликнул Вадим. Она пустила его руку. – Да, – продолжал он. – Я это знаю сам. – Небо не хотело, чтоб меня кто-нибудь любил на свете, потому что оно создало меня для ненависти; – завтра ты всё узнаешь: – на что мне беречь тебя? – О, если б... не укоряй за долгое молчанье. – Быть может настанет время и ты подумаешь: зачем этот человек не родился немым, слепым и глухим, – если он мог родиться кривобоким и горбатым?..

Поведение Вадима с протчими слугами было непонятно, потому что его цели никто не знал; я объясню его сколько можно следующим разговором; на крыльце дома сидело двое слуг, один старый, другой лет двадцати; вот слова их:

– Заметь, Федька, что, кто из грязи вышел, тот лезет в золото! – как этот Вадимка загордился – эдакой урод – мне никогда никакого уважения не делает – когда сам приказчик меня всегда отличает – да и к барину как умеет он подольститься: словно щенок! – Экой век стал нехристианской.

– Не скажу, дядя Ипат!.. он всегда со мной ласков – парень лихой; с ним держи ухо востро: тотчас на удочку подцепит – вот например вчера...

– Что вчера?

– Я тебе расскажу эту штуку, дядя... слушай... вчера барин разгневался на Олешку Шушерина и приказал ему влупить 25 палок; повели Олешку на конюшню – сам приказчик и стал его бить; 25 раз ударил да и говорит: это за барина – а вот за меня – и занес руку: Вадим всё это время стоял поодаль, в углу: брови его сходились и расходились. – В один миг он подскочил к приказчику и сшиб его на землю одним ударом. На губах его клубилась пена от бешенства, он хотел что-то вымолвить – и не мог.

– Жаль! – возразил старик, – не доживет этот человек до седых волос. – Он жалел от души, как мог, как обыкновенно жалеют старики о юношах, умирающих преждевременно, во цвете жизни, которых смерть забирает вместо их, как буря чаще ломает тонкие высокие деревья и щадит пни столетние.

Зачем Вадим старался приобрести любовь и доверенность молодых слуг? – на это отвечаю: происшествия, мною описываемые, случились за 2 месяца до бунта пугачевского.

Умы предчувствовали переворот и волновались: каждая старинная и новая жестокость господина была записана его рабами в книгу мщения, и только кровь <его> могла смыть эти постыдные летописи. Люди, когда страдают, обыкновенно покорны; но если раз им удалось сбросить ношу свою, то ягненок превращается в тигра: притесненный делается притеснителем и платит сторицею – и тогда горе побежденным!..

Русский народ, этот сторукий исполин, скорее перенесет жестокость и надменность своего повелителя, чем слабость его; он желает быть наказываем, но справедливо, он согласен служить – но хочет гордиться своим рабством, хочет поднимать голову, чтоб смотреть на своего господина, и простит в нем скорее излишество пороков, чем недостаток добродетелей! В 18 столетии дворянство, потеряв уже прежнюю неограниченную власть свою и способы ее поддерживать – не умело переменить поведения: вот одна из тайных причин, породивших пугачевский год!

[Глава V]

Но обратимся к нашему рассказу.

Дом Бориса Петровича стоял на берегу Суры, на высокой горе, кончающейся к реке обрывом глинистого цвета; кругом двора и вдоль по берегу построены избы, дымные, черные, наклоненные, вытягивающиеся в две линии по краям дороги, как нищие, кланяющиеся прохожим; по ту сторону реки видны в отдалении березовые рощи и еще далее лесистые холмы с чернеющими елями, налево низкий берег, усыпанный кустарником, тянется гладкою покатостью – и далеко, далеко синеют холмы как волны. Вечернее солнце порою играло на тесовой крыше и в стеклах золотыми переливами, раскрашенные резные ставни, колеблемые ветром, стучали и скрипели, качаясь на ржавых петлях. Вокруг старинного дома обходит деревянная резной работы голодарейка, служащая вместо балкона; здесь, сидя за работой, Ольга часто забывала свое шитье и наблюдала синие странствующие воды и барки с белыми парусами и разноцветными флюгерями. Там люди вольны, счастливы! каждый день видят новый берег – и новые надежды! – Песни крестьян, идущих с сенокоса, отдаленный колокольчик часто развлекали ее внимание – кто едет, купец? барин? почта? – но на что ей!.. не всё ли равно... и всё-таки не худо бы узнать.

Какая занимательная, полная жизнь, не правда ли?

Теперь она попала из одной крайности в другую: теперь, завернувшись в черную бархатную шубейку, обшитую заячьим мехом, она трепеща отворяет дверь на голодарейку. – Чего тебе бояться, неопытная девушка: Борис Петрович уехал в город, его жена в монастырь, слушать поучения монахов и новости и уст богомолк, не менее ею уважаемых.

Кто идет ей навстречу. – Это Вадим. – Она вздрогнула; – она побледнела, потому что настала роковая минута.

– Что с тобою, – сказал он.

– Ничего...

– А! понимаю! – он закусил губы: – ты меня испугалась...

– Зачем мне бояться тебя, – отвечала гордо Ольга.

– Тем лучше! – продолжал он... – это уже много значит – так я тебе не страшен! не отвратителен... о мой создатель! вот великое блаженство! право мне кажется это первое... – он остановился...

– Послушай, что если душа моя хуже моей наружности? разве я виноват... я ничего не просил у людей кроме хлеба – они прибавили к нему презрение и насмешки... я имел небо, землю и себя, я был богат всеми чувствами... видел солнце и был доволен... но постепенно всё исчезло: одна мысль, одно открытие, одна капля яда – берегись этой мысли, Ольга.

– Для чего мы здесь, – спросила она с нетерпением.

– Я здесь для того, чтобы тебя видеть.

– А я совсем не для того...

– Опять, опять! – воскликнул Вадим. – Послушай, если хочешь чего-нибудь добиться от меня, то не намекай о моем безобразии: я завистлив, я зол, я всё, что ты хочешь... но пощади меня. – Он закрыл лицо обеими руками. – Ей стало жалко: этот человек, одаренный величайшим самолюбием, просил у нее, слабой девушки, у нее, еще более, чем он, незащитной, сожаления – или нет... меньше... он просил, чтоб она его не оскорбляла.

Такие речи иногда трогают женское сердце.

Она прервала неприятное молчание:

– Ты говорил, Вадим, что знаешь, где мой отец?..

Он задумался:

– Обещай никогда не укорять меня за то, что я тебе открыл свою тайну.

– Никогда.

– Слушай же: твой отец был дворянин – богат – счастлив – и подобно многим, кончил жизнь на соломе... ты вздрогнула... но это еще ничего!..

– О если это ничего – то не продолжай.

– Нет слушай: у него был добрый сосед, его друг и приятель, занимавший первое место за столом его, товарищ на охоте, ласкавший детей его, – простосердечный, который всегда стоял с ним рядом в церкви, снабжал его деньгами в случае нужды, ручался за него своею головою – что ж... разве этого не довольно для гибели человека? – погоди... не бледней... дай руку: огонь, текущий в моих жилах, перельется в тебя... слушай далее: однажды на охоте собака отца твоего обскакала собаку его друга; он посмеялся над ним: с этой минуты началась непримиримая вражда – 5 лет спустя твой отец уж не смеялся. – Горе тому, кто наказал смех этот слезами! Друг твоего отца отрыл старинную тяжбу о землях и выиграл ее и отнял у него всё имение; я видал отца твоего перед кончиной; его седая голова неподвижная, сухая, подобная белому камню, остановила на мне пронзительный взор, где горела последняя искра жизни и ненависти... и мне она осталась в наследство; а его проклятие живо, живо и каждый год пускает новые отрасли, и каждый год всё более окружает своею тенью семейство злодея... я не знаю, каким образом всё это сделалось... но кто, ты думаешь, кто этот нежный друг? – как, небо!.. в продолжении 17-ти лет ни один язык не шепнул ей: этот хлеб куплен ценою крови – твоей – его крови! и без меня, существа бедного, у которого вместо души есть одно только ненасытимое чувство мщения, без уродливого нищего, это невинное сердце билось бы для него одною благодарностью.

– Вадим, что сказал ты.

– Благодарность! – продолжал он с горьким смехом. – Благодарность! Слово, изобретенное для того, чтоб обманывать честных людей!.. слово, превращенное в чувство! – о премудрость небесная!.. как легко тебе из ничего сделать святейшее чувство!.. нет, лучше издохнуть с голода и жажды в какой-нибудь пустыне, чем быть орудием безумца и лизать руку, кидающую мне остатки пира... – о, благодарность!..

И он ходил взад и вперед скорыми шагами, сжав крестом руки, – и, казалось, забыл, что не сказал имени коварного злодея... и, казалось, не замечал в лице несчастной девушки страх неизвестности и ожидания... он был весь погребен сам в себе, в могиле, откуда также никто не выходит... в живой могиле, где

также есть червь, грызущий вечно и вечно ненасытный.

Безобразные черты Вадима чудесно оживились, гений блистал на челе его, – и глаза, если бы остановились в эту минуту на человеке, то произвели бы действие глаз василиска: но они были обращены вверх!..

– Я отгадала! – воскликнула молодая девушка, подойдя с твердостью к Вадиму... – я поняла тебя!.. это Борис Петрович...

Она в самом деле отгадала: великие души имеют особенное преимущество понимать друг друга; они читают в сердце подобных себе, как в книге, им давно знакомой; у них есть приметы, им одним известные, и темные для толпы; одно слово в устах их иногда целая повесть, целая страсть со всеми ее оттенками.

Палицын был тот самый ложный друг, погубивший отца юной Ольги – и взявший к себе дочь, ребенка 3 лет, чтобы принудить к молчанию некоторых дворян, осуждавших его поступок; он воспитал ее как рабу, и хвалился своею благотворительностью; десять лет тому назад он играл ее кудрями, забавлялся ее ребячествами и теперь в мыслях готовил ее для постыдных удовольствий. Это было также мщение в своем роде... кто бы подумал!.. столько страданий за то, что одна собака обогнала другую... как ничтожны люди! как верить общему мнению! – Палицын слыл честнейшим человеком во всем околотке – и точно! он погубил только одно семейство.

Я сказал, что великие души понимают друг друга, потому-то Вадим смотрел на нее, без удивления, но с тайным восторгом.

Она схватила его за руку и повлекла в комнату, где хрустальная лампада горела перед образами, и луч ее сливался с лучом заходящего солнца на золотых окладах, усыпанных жемчугом и камнями; – перед иконой богоматери упала Ольга на колени, спина и плечи ее отделяемы были бледнеющим светом зари от темных стен; а красноватый блеск дрожащей лампы озарял ее лицо, вдохновенное, прекрасное, слишком прекрасное для чувств, которые бунтовали в груди ее; Вадим не сводил глаз с этого неземного существа, как будто был счастлив.

Ольга сорвала с шеи богатое ожерелье и бросила его на землю.

– Так уничтожаю последний остаток признательности... боже! боже!
я невиновна... ты, ты сам дал мне вольную душу, а он хотел сделать меня рабой,
своей рабой!.. невозможно! невозможно женщине любить за такое
благодеение... терпеть, страдать я согласна... но не требуй более; боже! если б
ты теперь мне приказал почитать его своим благодетелем – я и тебя перестала
бы любить!.. моя жизнь, моя судьба принадлежат тебе, создатель, и кому ты
хочешь – но сердце в моей власти!..

Слезы покатались из глаз ее, она склонила голову, рука ее дрожала в руке
Вадима...

– Я твой брат! – воскликнул он вне себя. Она обернулась, встала... как будто не
поняла... как будто ужаснулась... Руки ее опустились как руки умершей, и
сомкнутые уста удерживали дыхание.

– Я твой брат! – повторил он дрожащим, страшным голосом.

Она молчала.

Вадим взглянул на нее в последний раз, схватил себя за голову и вышел;
и выходя остановился у двери... и в продолжение одной минуты он думал
раздробить свою голову об косяк... но эта безумная мысль скоро пролетела... он
вышел.

– Брат! – сказала Ольга, смотря ему вослед. – Брат! И без сил она упала на стул.

Глава VI

Борис Петрович был чрезвычайно доволен своим горбачом (так в доме называли
Вадима). Горбач везде почти следовал за ним, на охоту, в поле, на пашню, –
исполнял его малейшие желания, предугадывал их. Одним словом делал всё,
чем мог приобрести доверенность, – и если ему удавалось, то неизъяснимая
радость процветала на этом суровом лице, которое выражало все чувства, все, –
кроме одного, любимого сокровища, хранимого на черный день. Если Борис
Петрович хотел наказать кого-нибудь из слуг, то Вадим намекал ему всегда, что

есть наказания, которые жесточе, и что вина гораздо больше, нежели Палицын воображал; – а когда недосказанный совет его был исполнен, то хитрый советник старался возбудить неудовольствие дворни, взглядом, движеньями помогал им осуждать господина; но никогда ничего не говорил такого, что бы могло быть пересказано ко вреду его – к неудовольствию рабов или помещика. Он был враждебный Гений этого дома...

Однажды, не знаю зачем, Палицын велел его позвать; искали горбача – не нашли. Так это и осталось.

День был жаркий, серебряные облака тяжелели ежечасно; и синие, покрытые туманом, уже показывались на дальнем небосклоне; на берегу реки была развалившаяся баня, врытая в гору и обсаженная высокими кустами кудрявой рябины; около нее валялись груды кирпичей, между коими выростала высокая трава и желтые цветы на длинных стебельках. Тут сидел Вадим; один, облокотясь на свои колена и поддерживая голову обеими руками; он размышлял; тени рябиновых листьев рисовались на лице его непостоянными арабесками и придавали ему вид таинственный; золотой луч солнца, скользнув мимо соломенной крыши, упал на его коленку, и Вадим, казалось, любовался воздушной пляской пылинок, которые кружились и подымались к солнцу.

Вчера он открылся Ольге; – наконец он нашел ее, он встретился с сестрой, которую оставил в колыбели; наконец... о! чудна природа; далеко ли от брата до сестры? – а какое различие!.. эти ангельские черты, эта демонская наружность... Впрочем разве ангел и демон произошли не от одного начала?..

Однако Вадим заметил в ней семейственную гордость, сходство с его душой, которое обещало ему много... обещало со временем и любовь ее... эта надежда была для него нечто новое; он хотел ею завладеть, он боялся расстаться с нею на одно мгновение... – и вот зачем он удалился в уединенное место, где плеск волны не мог развлечь думы его; он не знал, что есть цветы, которые, чем более за ними ухаживают, тем менее отвечают стараниям садовника; он не знал, что, слишком привязавшись к мечте, мы теряем существование; а в его существовании было одно мщение...

Постепенно мысли его становились туманнее; и он полусонный лег на траву – и нечаянно взор его упал на лиловый колокольчик, над которым вились две бабочки, одна серая с черными крапинками, другая испещренная всеми красками радуги; как будто воздушный цветок или рубин с изумрудными

крыльями, отделанный в золото и оживленный какою-нибудь волшебницей; оба мотылька старались сесть на лиловый колокольчик и мешали друг другу, и когда один был близко, то ветер относил его прочь; наконец разноцветный мотылек остался победителем; уселся и спрятался в лепестках; напрасно другой кружился над ним... он был принужден удалиться. У Вадима был прутик в руке; он ударил по цветку и убил счастливое насекомое... и с каким-то восторгом наблюдал его последний трепет!..

И бог знает отчего в эту минуту он вспомнил свою молодость, и отца, и дом родной, и высокие качели, и пруд, обсаженный ветлами... всё, всё... и отец его представился его воображению, таков, каким он возвратился из Москвы, потеряв свое дело... и принужденный продать всё, что у него осталось, дабы заплатить стряпчим и суду. – И потом он видел его лежащего на жесткой постели в доме бедного соседа... казалось, слышал его тяжелое дыхание и слова: отомсти, сын мой, извергу... чтоб никто из его семьи не порадовался краденым куском... и вспомнил Вадим его похороны: необитый гроб, поставленный на телеге, качался при каждом толчке; он с образом шел вперед... дьячок и священник сзади; они пели дрожащим голосом... и прохожие снимали шляпы... вот стали опускать в могилу, канат заскрипел, пыль взвилась...

Кровь кинулась Вадиму в голову, он шепотом повторил роковую клятву и обдумывал исполнение; он готов был ждать... он готов был всё выносить... но сестра! если... о! тогда и она поможет ему... и без трепета он принял эту мысль; он решился завлечь ее в свои замыслы, сделать ее орудием... решился погубить невинное сердце, которое больше чувствовало, нежели понимало... странно! он любил ее; – или не почитал ли он ненависть добродетелью?..

Вдруг над ним раздался свист арапника, и он почувствовал сильную боль во всей руке своей; – как тигр вскочил Вадим... перед ним стоял Борис Петрович и осыпал его ругательствами.

Кланяясь слушал он и с покорным видом последовал за Палицыным в дом, где слуги встретили его с насмешливыми улыбками, которые говорили: пришел и твой черед.

С этих пор Вадим ни разу не забывал своей должности.

[Глава VII]

П?д-вечер приехали гости к Палицыну; Наталья Сергевна разрядилась в фижмы и парчевое платье, распудрилась и разрумянилась; стол в гостиной устали вареньями, ягодами сушеными и свежими; Генадий Василич Горинкин, богатый сосед, сидел на почетном месте, и хозяйка поминутно подносила ему тарелки с сладостями; он брал из каждой понемножку и важно обтирал себе губы; он был высокого роста, белокур, и вообще довольно ловок для деревенского жителя того века; и это потому быть может, что он служил в лейб-камpanцах; 25<-и> лет вышед в отставку, он женился и нажил себе двух дочерей и одного сына; – Борис Петрович занимал его разговорами о хозяйстве, о Москве и проч., бранил новое, хвалил старое, как все старики, ибо вообще, если человек сам стал хуже, то всё ему хуже кажется; – поздно вечером, истощив разговор, они не знали, что начать; зевали в руку, вертели на местах, смотрели по сторонам; но заботливый хозяин тотчас нашелся:

– Малой! Египетского, – закричал он, в восторге от своей мысли; – принесли две фляги и две большие серебряные кружки; – начали пить, потом спорить, хохотать и целоваться; – щеки их разгорелись, и воображение, охлажденное годами, закипело.

– Потешить ли тебя, сосед любезный! – воскликнул Палицын;

– А что?

– Да уж то, что твоей милости и в голову не придет; любишь ли ты пляску?.. а у меня есть девочка – чудо... а как пляшет!.. жжет, а не пляшет!.. я не монах, и ты не монах, Васильич...

– Избави Христос...

– И точно так!..

– Ну что же?

– Да уж то!.. мать моя, женушка, Наталья Сергевна, – вели Оленьке принарядиться в шелковый святошный сарафан да выдти поплясать; а других

пришли петь, да песельников-то нам побольше, знаешь, чтоб лихо... – он захохотал, сам верно не зная чему; и начал потирать руки, заране наслаждаясь успехом своей выдумки; – этот человек, обыкновенно довольно угрюмый, теперь был совершенный ребенок.

Наталья Сергевна приказала собираться песельникам, а сама вышла искать Ольгу.

Где была Ольга?..

В темном углу своей комнаты, она лежала на сундуке, положив под голову свернутую шубу; она не спала; она еще не опомнилась от вчерашнего вечера; укоряла себя за то, что слишком неласково обошлась с своим братом... но Вадим так ужаснул ее в тот миг! – Она думала целый день идти к нему, сказать, что она точно достойна быть его сестрой и не обвиняет за излишнюю ненависть, что оправдывает его поступок и удивляется чудесной смелости его.

Со свечой в руке вошла Наталья Сергевна в маленькую комнату, где лежала Ольга; стены озарились, увешанные платьями и шубами, и тень от толстой госпожи упала на столик, покрытый пестрым платком; в этой комнате протекала половина жизни молодой девушки, прекрасной, пылкой... здесь ей снились часто молодые мужчины, стройные, ласковые, снились большие города с каменными домами и златоглавыми церквями; – здесь, когда зимой шумела мятелица и снег белыми клоками упал на тусклое окно и собирался перед ним в высокий сугроб, она любила смотреть, завернутая в теплую шубейку, на белые степи, серое небо и ветлы, обвешанные инеем и колеблемые взад и вперед; и тайные, неизъяснимые желания, какие бывают у девушки в семнадцать лет, волновали кровь ее; и досада заставляла плакать; вырывала иголку из рук.

– Вставай, Ольга! – закричала Наталья Сергевна, сердито толкнув ее.

Ольга вскочила и зажмурилась, встретив свечу прямо перед глазами.

– Что спала, ленивая...

– У меня голова болит!

– Вздор! девчонка молодая... и смеет голова болеть! просто лень, уж так бы и говорила... а то еще лжет... отвечай: спала, лентяйка?

– Я никогда не лгу.

– Как! еще смеет отвечать, когда я говорю! спорить! ах грубиянка; да не я ли тебя выкормила и воспитала, да не я ли тебя от нищего отца-негодяя взяла на свои руки... неблагодарная! – нет! этот народ никогда не чувствует благодеяний! как волка ни корми, а всё в лес глядит... да не смей строить рож, когда я браню тебя!.. стой прямо и не морщись, – ты забываешь, кто я?..

Ольга хотела что-то сказать, но удержалась; презрение изобразилось на лице ее; мрачный пламень, пробужденный в глазах, потерялся в опущенных ресницах; она стояла, опустив руки, с колеблющею грудью и обнаженными плечами, и неподвижно внимала обидным изречениям, которые рассердили, испугали бы другую.

– Поди надень шелковый сарафан и выходи плясать... чтоб голова не болела... слышишь... скорей же!.. да не больно финти перед Борисом Петровичем!.. а не то я тебе дам знать!.. ведь вы все ради заманить барскую милость... берегись...

Ольга молчала – но вся вспыхнула... и если б Наталья Сергевна не удалилась, то она не вытерпела бы далее; слезы хотели брызнуть из глаз ее, но женщина иногда умеет остановить слезы... – Как! ее подозревают, упрекают? – и в чем! – о! где ее брат! пускай придет он и выслушает ее клятву помогать ему во всем, что дышит местию и разрушением; пускай посвятит он ее в это грозное таинство, – она готова!..

Теперь она будет уметь отвечать Вадиму, теперь глаза ее вынесут его испытывающие взгляды, теперь горькая улыбка не уничтожит ее твердости; – эта улыбка имела в себе что-то неземное; она вырывала из души каждое благочестивое помышление, каждое желание, где таилась искра добра, искра любви к человечеству; встретив ее, невозможно было устоять в своем намерении, какое бы оно не было; в ней было больше зла, чем люди понимать способны.

Ольгу ждут в гостиной, Борис Петрович сердится; его гость поминутно наливает себе в кружку и затягивает плясовую песню... наконец она взошла: в малиновом

сарафане, с богатой повязкой; ее темная коса упала между плечьями до половины спины; круглота, белизна ее шеи были удивительны; а маленькая ножка, показываясь по временам, обещала тайные совершенства, которых ищут молодые люди, глядя на женщину как на орудие своих удовольствий; впрочем маленькая ножка имеет еще другое значение, которое я бы открыл вам, если б не боялся слишком удалиться от своего рассказа.

Она вошла... и встретила пьяные глаза, дерзко разбирающие ее прелести; но она не смутилась; не покраснела; – тусклая бледность ее лица изобличала совершенное отсутствие беспокойства, совершенную преданность судьбе; – в этот миг она жила половиною своей жизни; она походила на испорченный орган, который не играет ни начало ни конец прекрасной песни.

Хор затянул плясовую; – Начинай же, Оленька! – закричал Палицын, – не стыдись!.. она вздрогнула; ей пришло на мысль, что она будет плясать перед убийцею отца своего; – эта мысль как молния ворвалась в ее душу и озарила там следы минувшего; и все обиды, все несправедливости, унижения рабства, одним словом, жизнь ее встала перед ней, как остов из гроба своего; и она почувствовала его упрек...

Если б можно было изобразить страдание этого нежного существа, то трудно было бы поверить, что она не лишилась рассудка!.. потому что ее ресницы были сухи, и сжатые дрожащие губы не пропустили ни одного вздоха. – «Что же! красotka моя, начинай!.. небось – ты так хороша сегодня!..» – кричали оба помещика; что за лестное поощрение! не правда ли.

Ольга окинула взором всю комнату, надеясь уловить хотя одно сожаление... неуместная надежда; – подлая покорность, глупая улыбка встретили ее со всех сторон – рабы не сожалели об ней, – они завидовали! – пускай завидуют, подумала Ольга; это будет им наказание.

Она начала плясать.

Движения Ольги были плавны, небрежны; даже можно было заметить в них некоторую принужденность, ей несвойственную, но скоро она забылась; и тогда душевная буря вылилась наружу; как поэт, в минуту вдохновенного страданья бросая божественные стихи на бумагу, не чувствует, не помнит их, так и она не знала, что делала, не заботилась о приличии своих движений, и потому-то они

обворожили всех зрителей; это было не искусство – но страсть.

И вдруг она остановилась, опомнилась, опустила пылающие глаза, голова ее кружилась; все предметы прыгали перед нею, громкие напевы слились для нее в один звук, нестройный, но решительный, в один звук воспоминания...

Она посмотрела вокруг, ужаснулась,.. махнула рукой и выбежала.

Борис Петрович встал и, качаясь на ногах, последовал за нею; раскаленные щеки его обнаруживали преступное желание, и с дрожащих губ срывались несвязные слова, но слишком ясные для окружающих.

Дверь в комнату Ольги была затворена; он дернул, и крючок расскочился; она стояла на коленях, закрыв лицо руками и положив голову на кровать; она не слышала, как он взошел, потому что произнесла следующие слова: «отец мой! не вини меня...»

– Теперь ты не вывернешься! – воскликнул захохотавши Борис Петрович; – я человек добрый – и ты человек добрый; следовательно...

Она вскочила и, устремив на него мутный взор, казалось, не понимала этих слов; – он взял ее за руку; она хотела вырваться – не могла; сев на постель, он притянул ее к себе и начал целовать в шею и грудь; у нее не было сил защищаться; отвернув лицо, она предавалась его буйным ласкам, и еще несколько минут – она бы погибла.

Но вдруг раздался шум, и вбежала хозяйка; между достойными супругами начался крик, спор... однако Наталье Сергевне, благодаря винным парам удалось вывести мужа; долго еще слышен был хриплый бас его и пронзительный дишкант Натальи Сергевны; наконец всё утихло – и Ольга тогда только уверилась, что все ее оставили.

Она слышала, как стучало ее испуганное сердце и чувствовала странную боль в шее; бедная девушка! немного повыше круглого плеча ее виднелось красное пятно, оставленное губами пьяного старика... Сколько прелестей было измято его могильными руками! сколько ненависти родилось от его поцелуев!.. встал месяц; скользя вдоль стены, его луч пробрался в тесную комнату, и крестообразные рамы окна отделились на бледном полу... и этот луч упал на

лицо Ольги – но ничего не прибавил к ее бледности, и красное пятно не могло утонуть в его сиянии... в это время на стенных часах в приемной пробило одиннадцать.

Глава VIII

Где скрывался Вадим весь этот вечер? – на темном чердаке, простертый на соломе, лицом кверху, сложив руки, он уносился мыслию в вечность, – ему снилось наяву давно желанное блаженство: свобода; он был дух, отчужденный от всего живущего, дух всемогущий, не желающий, не сожалеющий ни об чем, завладевший прошедшим и будущим, которое представлялось ему пестрой картиной, где он находил много смешного и ничего жалкого. – Его душа расширялась, хотела бы вырваться, обнять всю природу, и потом сокрушить ее, – если было желание безумца, то по крайней мере великого безумца; – что такое величайшее добро и зло? – два конца незримой цепи, которые сходятся, удаляясь друг от друга.

Чудные звуки разрушили мечтания Вадима: то были отрывистые звуки плясовой песни, смешанные с порывами северного ветра; Вадим привстал; луна ударяла прямо в слуховое окно, и свет ее, захватывая несколько измятых соломинок, упал на противную стену, так что Вадим легко мог рассмотреть на ней все скважины, каждый клочок моха, высунувшийся между брусьями; – долго он не сводил глаз с этой стены, долго внимал звукам отдаленной песни – ...наконец они умолкли, облако набежало на полный месяц... Вадим упал на постель свою, и безотчетное страдание овладело им; он ломал руки, вздыхал, скрежетал зубами... неизвестный огонь бежал по его жилам, череп готов был треснуть... о! давно ли ему было довольно одной ненависти!..

Маленькая дверь скрипнула и отворилась; ему послышался легкий шум шагов.

– Брат! – сказал кто-то очень тихо.

Вадим затрепетал. – Между тем облако пробежало, и луна озарила одно плечо и половину лица Ольги; она стояла близь него на коленях.

– Всё понимаю, – воскликнул он, прочитавши в ее взоре ужасное беспокойство.

– Точно? – отвечала Ольга изменившимся голосом; – точно? – я пришла тебя обрадовать, друг мой!..

Друг мой! впервые существо земное так называло Вадима; он не мог разом обнять всё это блаженство; как безумный схватил он себя за голову, чтобы увериться в том, что это не обман сновидения; улыбка остановилась на устах его – и душа его, обогащенная целым чувством, сделалась подобна временщику, который, получив миллион и не умея употребить его, прячет в железный сундук и стережет свое сокровище до конца за жизни.

Эти два слова так сильно врезались в его душу, что несколько дней спустя, когда он говорил с самим собою, то помог удержаться, чтоб не сказать: друг мой...

Если мне скажут, что нельзя любить сестру так пылко, вот мой ответ: любовь – везде любовь, то есть самозабвение, сумасшествие, назовите как вам угодно; – и человек, который ненавидит всё, и любит единое существо в мире, кто бы оно ни было, мать, сестра или дочь, его любовь сильнее всех ваших произвольных страстей. Его любовь сама по себе в крови чужда всякого тщеславия... но если к ней приметается воображение, то горе несчастному! – по какой-то чудной противоположности, самое святое чувство ведет тогда к величайшим злодействам; это чувство наконец делается так велико, что сердце человека уместить в себе его не может и должно погибнуть, разорваться, или одним ударом сокрушить кумир свой; но часто самолюбие берет перевес, и божество падает перед смертным.

– Брат! слушай, – продолжала Ольга, я всё обдумала и решилась сделать первый шаг на пути, по которому ни тебе, ни мне не возвратиться. Всё равно... они все ведут к смерти; – но я не позволю низкому, бездушному человеку почитать меня за свою игрушку... ты или я сама должна это сделать; – сегодня я перенесла обиду, за которую хочу, должна отомстить... брат! не отвергай моей клятвы... если ты ее отвергнешь, то берегись... я сказала, что не перенесу этого... ты будешь добр для меня; ты примешь мою ненависть, как дитя мое; станешь лелеять его, пока оно вырастет и созреет и смоет мой позор страданиями и кровью... да, позор... он, убийца, обнимал, целовал меня... хотел... не правда ли, ты готовишь ему ужасную казнь?..

Вадим дико захохотал и, стараясь умолкнуть, укусил нижнюю губу свою, так крепко, что кровь потекла; он похож был в это мгновенье на вампира, глядящего на издыхающую жертву.

– Клянусь этим богом, который создал нас несчастными, клянусь его святыми таинствами, его крестом спасительным, – во всем, во всем тебе повиноваться – я знаю, Вадим, твой удар не будет слаб и неверен, если я сделаюсь орудием руки твоей! – о! ты великий человек!

– Да – теперь, потому что ты меня любишь!..

Она ничего не отвечала.

– Успокойся, опомнись, – сказал Вадим... ты меня еще не знаешь, но я тебе открою мои мысли, разверну всё мое существование, и ты его поймешь. Перед тобой я могу обнажить странную душу мою: ты не слабый челнок, неспособный переплыть это море; волны и бури его тебя не испугают; ты рождена посреди этой стихии; ты не утонешь в ее бесконечности!.. Помню, как после смерти отца я покидал тебя, ребенка в колыбели, тебя, не знавшую ни добра, ни зла, ни заботы, – а в моей груди уже бродила страсть пагубная, неусыпная; – ты протянула ко мне свои ручонки, улыбалась... будто просила о защите... а я не имел своего куска хлеба.

Меня взяли в монастырь, – из сострадания, – кормили, потому что я был не собака, и нельзя было меня утопить; в стенах обители я провел мои лучшие годы; в душных стенах, оглушаемый звоном колоколов, пеньем людей, одетых в черное платье и потому думающих быть ближе к небесам, притесняемый за то, что я обижен природой... что я безобразен. Они заставляли меня благодарить бога за мое безобразие, будто бы он хотел этим средством удалить меня от шумного мира, от грехов... Молиться!.. у меня в сердце были одни проклятия! – часто вечером, когда розовые лучи заходящего солнца играли на главах церкви и медных колоколах, я выходил из святых врат, и с холма, где стояла развалившаяся часовня, любовался на тюрьму свою; – она издали была прекрасна. – Облака призывали мое воображение к себе на воздушные крылья, но насмешливый голос шептал мне: ты способен обнять своею мыслию всё сотворенное; ты мог бы силою души разрушить естественный порядок и восстановить новый, для того-то я тебя не выпущу отсюда; довольно тебе знать, что ты можешь это сделать!..

Никто в монастыре не искал моей дружбы, моего сообщества; я был один, всегда один; когда я плакал – смеялись; потому что люди не могут сожалеть о том, что хуже или лучше их; – все монахи, которых я знал, были обыкновенные, полудобрые существа, глупые от рожденья или от старости, неспособные ни к чему, кроме соблюдения постов... Я желал возненавидеть человечество – и поневоле стал презирать его; душа ссыхалась; ей нужна была свобода, степь, открытое небо... ужасно сидеть в белой клетке из кирпичей и судить о зиме и весне по узкой тропинке, ведущей из келий в церковь; не видать ясное солнце иначе, как сквозь длинное решетчатое окно, и не сметь говорить о том, чего нет в такой-то книге...

Можно придти в отчаянье!

Однажды, Ольга, я заметил безногого нищего, который, не вмешиваясь в споры товарищей, сидел на земле у святых ворот и только постукивал камнем о камень, и когда вылетала искра, то чудная радость покрывала незначущее его лицо. – Я подошел к нему и сказал: «ты очень благоразумен, любезный, тем, что не мешаешься в их ссору.»

– Я без ног, – отвечал он с недовольным видом; – эта меня поразило: я ошибся! – однако продолжал свои вопросы: – что был ты прежде, купец или крестьянин?

– Нищий! – отвечал он; – рожден нищим и умру нищим; только разница в том, что я рожден с ногами, а умру безногий!

– Отчего же?

– Отчего! – тут он призадумался; потом продолжал равнодушно: – я был проводником одного слепого; нас было много; – когда слепой умер, то я стал лишним. Мне переломали руки и ноги, чтоб я не даром кормился, и был полезен; теперь меня возят в тележке – и дают деньги.

– Знал ли ты своих родителей? – спросил я поспешно.

– Как же!

– А кто были они?

– Нищие! – тут он улыбнулся; не знаю, что было в его улыбке, насмешка над судьбой или надо мною, потому что я слушал его с видом полной доверенности.

«Итак есть состояние, в котором безобразия не порок», – подумал я. На другой день бежал из монастыря и сделался нищим.

Вадим остановился.

– Понимаю тебя! – воскликнула Ольга и пожала ему руку.

– Я это знал!.. разве ты не сестра мне? – возразил Вадим.

– Послушай, верно само небо хочет, чтобы мы отомстили за бедного отца; как оно согласило все обстоятельства, как оно привело тебя к цели...

– Небо или ад... а может быть и не они; твердое намерение человека повелевает природе и случаю; – хотя с тех пор как я сделался нищим, какой-то бешеный демон поселился в меня, но он не имел влияния на поступки мои; он только терзал меня; воскрешая умершие надежды, жажду любви, – он странствовал со мною рядом по берегу мрачной пропасти, показывая мне целый рай в отдалении; но чтоб достигнуть рая, надобно было перешагнуть через бездну. Я не решился; кому завещать свое мщение? кому его уступить?

Долго я бродил без крова и пристанища, преданный зимним мятелям, как южная птица, отставшая от подруг своих, долго жить – было целью моей жизни.

Но судьба мне послала человека, который случайно открыл мне, что ты воспитываешься у Палицына, что он богат, доволен, счастлив – это меня взорвало!.. я не хотел чтоб он был счастлив – и не будет отныне; в этот дом я принес с собою моего демона; его дыхание чума для счастливых, чума... сестра, ты мне простишь... о! я преступник... вижу, и тобой завладел этот злой дух, и в тебе поселилась эта болезнь, которая портит жизнь и поддерживает ее. Ты, земной ангел, без меня не потеряла бы свою беспечность... теперь всё кончено... от моего прикосновения увяли твои надежды... махни рукой твоему спокойствию... цветы не растут посреди бунтующего моря, где есть демон, там нет бога...

– Как! – воскликнула Ольга, – неужели ты раскаиваешься!.. правда, я женщина – но разве всякая женщина променяет печали и беспокойства на блистательный позор... блистательный! – о! быть любовницей старика, злодея моего семейства... ты желал этого, Вадим, не правда ли?

– Нет – я тогда убил бы тебя...

– А теперь, кто мешает?

– Теперь? теперь... – он опустил глаза в землю и замолк; глубокое страдание было видно в следующих словах: – теперь, убить тебя! – теперь, когда у меня есть слезы, когда я могу плакать на твоих коленях... плакать! о! это величайшее наслаждение для того, чей смех мучительнее всякой пытки!.. нет, я еще не так дурен как ты полагаешь; – человек, для которого видеть тебя есть блаженство, не может быть совершенным злодеем.

– Меня убить значит сделаться моим благодетелем, – отвечала Ольга, улыбаясь после нескольких минут глубокого молчания.

– А кто скажет: он хорошо поступил, когда мое имя делается на земле проклятием?

– Я удивляюсь тебе, друг мой!..

– Не хочу! люби меня.

Она закрыла лицо обеими руками.

Глава IX

Кто из вас бывал на берегах светлой <Суры>? – кто из вас смотрелся в ее волны, бедные воспоминаньями, богатые природным, собственным блеском! – читатель! не они ли были свидетелями твоего счастья или кровавой гибели твоих прадедов!.. но нет!.. волна, окропленная слезами твоего восторга или их кровью, теперь далеко в море, странствует без цели и надежды или в минуту гнева

расшиблась об утес гранитный! – Она потеряла дорогой следы страстей человеческих, она смеется над переменами столетий, протекающих над нею безвредно, как женщина над пустыми вздохами глупых любовников; – она не боится ни ада, ни рая, вольна жить и умереть, когда ей угодно; – сделавшись могилой какого-нибудь несчастного сердца, она не теряет своей прелести, живого, беспокойного своего нрава; и в ее погребальном ропоте больше утешений, нежели жалости. Если можно завидовать чему-нибудь, то это синим, холодным волнам, подвластным одному закону природы, который для нас не годится с тех пор, как мы выдумали свои законы.

Вадим стоял под густою липой, и упоительный запах разливался вокруг его головы, и чувства, окаменевшие от сильного напряжения души, растаяли постепенно, – и отвергнутый людьми, был готов кинуться в объятия природы; она одна могла бы утолить его пламенную жажду и, дав ему другую душу или новую наружность, поправить свою жестокою ошибку. Вадим с непонятным спокойствием рассматривал речные травы и густой хмель, который яркими, зелеными кудрями висел с глинистого берега. Вдали одетые туманом курганы, может быть могилы татарских наездников, подымались, выходили из полосатой пашни: еловые, березовые рощи казались опрокинутыми в воде; и мрачный цвет первых приятно отделялся желтоватой зеленью и белыми корнями последних; летнее солнце с улыбкой золотило эту простую картину.

В шуме родной реки есть что-то схожее с колыбельной песнью, с рассказами старой няни; Вадим это чувствовал, и память его невольно переселилась в прошедшее, как в дом, который некогда был нашим, и где теперь мы должны пировать под именем гостя; на дне этого удовольствия шевелится неизъяснимая грусть, как ядовитый крокодил в глубине чистого, прозрачного американского колодца.

Вдруг раздался в отдалении звон дорожного колокольчика, приносимый ветром... Вадим вздрогнул, не зная сам тому причины; – он обернулся в ту сторону, где деревянный мост показывался между кустов и где дорога желтея терялась за холмами; – там серая пыль клубилась вслед за простою кибиткой;.. «Не к нам ли? – подумал Вадим; – но этого не может быть! кому?» – ...его тревожил колокольчик, и непонятное предчувствие как свинец упало на его душу. – Он побрел вдоль по реке и старался рассеяться... но не мог: проклятый колокольчик его преследовал...

Что делалось в барском доме? Там также слышали колокольчик, но этот милый звук не произвел никакого неприятного влияния; Наталья Сергевна подбежала к окну, а Борис Петрович, который не говорил с женой со вчерашнего вечера, кинулся к другому. – Они ждали сына в отпуск – верно это он!..

В тот век почты были очень дурны, или лучше сказать не существовали совсем; родные посылали ходока к детям, посвященным царской службе... но часто они не возвращались пользуясь свободой; – таким образом однажды мать сосватала невесту для сына, давно убитого на войне. Долго ждала красавица своего суженого; наконец вышла замуж за другого; на первую ночь свадьбы явился призрак первого жениха и лег с новобрачными в постель; «она моя», говорил он – и слова его были ветер, гуляющий в пустом черепе; он прижал невесту к груди своей – где на месте сердца у него была кровавая рана; призвали попа со крестом и святой водою; и выгнали опоздавшего гостя; и выходя он заплакал, но вместо слез песок посыпался из открытых глаз его. Ровно через сорок дней невеста умерла чахоткою, а супруга ее нигде не могли сыскать.

Таково предание народное; обратимся к повести нашей. Борис Петрович и жена его три года не получали известия от своего Юриньки!.. месяц тому назад он с богомольцем, которого встретил на дороге, прислал письмо, извещающая о скором прибытии... это он!..

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://telnovel.me/mihail-lermontov/vadim>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)